

М. П.
АРЦЫБАШЕВ

Избранное



Михаил Петрович Арцыбашев

О смерти Чехова

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2849075

Аннотация

«Я не фаталист, но одно сектантское поверье возбуждает во мне мрачную уверенность: смерть убирает человека тогда, когда все, и дурное и хорошее, что могла получить от него жизнь, — получено, мера дел его исполнена, и лицо его ясно перед Богом. И еще думаю я, что абсолютной правды на земле нет, и потому важно не то, о чем пишет писатель, не те истины, которые он якобы открывает, а его Собственная личность, поскольку она велика и своеобразна...»

Михаил Петрович Арцыбашев О смерти Чехова

Я не фаталист, но одно сектантское поверье возбуждает во мне мрачную уверенность: смерть убирает человека тогда, когда все, и дурное и хорошее, что могла получить от него жизнь, – получено, мера дел его исполнена, и лицо его ясно перед Богом.

И еще думаю я, что абсолютной правды на земле нет, и потому важно не то, о чем пишет писатель, не те истины, которые он якобы открывает, а его Собственная личность, поскольку она велика и своеобразна.

И исходя из этих двух положений, я думаю, что Чехов умер вовремя и должен был умереть.

Однажды, осенней слякотью, проходя по Петербургской стороне, я поднял с панели бумажку, на которой малограмотный человек записал себе те книги, которые хотел взять из библиотеки. Так и было записано: взять то-то и «третий том Чехова-милого человека»!

В то время много говорили о том, что человек звучит очень гордо, и из миллионов хулиганов, добродетельных мещан, солдат, мужиков, купцов, чиновников, попов и царей стремились вылепить величественный образ человека.

Было потрачено много стараний и много шума, но величественный образ не вытанцовывался и роковым образом, через силу, гордость, своеволие и сверх переживания, впадал в величественную пошлость, желавшую плевать на весь свет и плюющую на собственное самодовольное чрево.

Человека обряжали в плащ индивидуализма, надевали хитон христианина, совали ему в руку красный флаг товарища, пускали голяком анархистом на оголенной земле, а он; одетый и голый, равно упорно оказывался если не зверь зверем, то свинья свиньей.

По-прежнему, рождаясь, человек становился в тягость себе и другим и аккуратно увеличивал собою ряды или плохих людей, от которых жить скверно, или очень хороших, принципиальных, с которыми жить трудновато.

Долго я думал над тем, каким должен быть, наконец, человек, чтобы от его личности не торчали во все стороны острые углы прямо в ребра его ближним. И только найдя эту бумажку, в которой какой-то наивный брат мой от всего немудрого сердца воскликнул по адресу Чехова «милый»! – я кое-что уразумел и нарисовал наконец себе настоящего человека.

Это не величественный образ – и это слава Богу – ибо от величий всех сортов на свет смотреть стало тошно.

Но это Человек, при жизни которого у всех возбуждается желание войти с ним в общение, а после смерти является потребность тихо и вдумчиво говорить о нем, неуловимыми сближениями перенося из его личности в свою нечто драго-

ценное.

Таким человеком был Чехов.

Я не успел узнать его лично, выйдя на литературную дорогу чуть ли не в год его смерти, но я знаю его лучше многих из тех, что намозолили мне глаза и душу.

Знаю, ибо всякий, знавший Чехова, при воспоминании о нем становится ласков, задумчиво грустен, интересен и много говорит о нем, торопясь высказать что-то особенное, чему на человеческом языке и названия нет; а все, не знавшие его, спрашивают о нем и, слушая, становятся тише, мягче и как будто лучше.

Обаяние Чехова и должно быть исключительными и носить особый милый характер, ибо в нем соединились все лучшие, милые черты человеческого духа.

Был он тонко остроумен, имел взгляд беспредельно широкий и, не наваливаясь всей тяжестью, как иной слон мысли человеческой, в одну точку, легко проходил мыслью по всем изгибам жизни, в ее радости, горе, поэзии, скуке, глупости, трагичности, сложности и простоте.

Был он добр и не сентиментален, ибо никого не ненавидел, но никого и не облюбовывал свыше меры. Был нежен и не слащав, с ласковой иронией относясь ко всему, что трогает красотой и возбуждает жалость своей слабостью и недолговечностью, как все на земле. Был он культурен во всех мелочах и просто естественен, как ребенок. Был он большой художник – весело-грустный и грустно-веселый, – и, читая

его рассказы, хочется и заплакать, и улыбнуться над тем подневольным трагизмом, имя которому – человеческая жизнь. Был он тих, не гремел, как медь звенящая и кимвал бряцающий, но голос его доходил до самых чутких и самых глухих людей равно.

Всякая мелочь повседневной жизни, к которой он прикасался или которая прикасалась к нему, приобретала особый, задушевно-милый характер.

Этой весной я посетил дачу Чехова в Ялте.

Были уже сумерки, и в белом доме, от которого видно засыпающее море и шевелящиеся огоньки веселого городка, было тихо, как на кладбище. Словно черные монахи, вышедшие на молитву, стояли внизу кипарисы и тихо шли к морю, а сад, где я сидел в ожидании света и ключей, был какой-то особенный, чеховский: деревья все тоненькие, – стройные, дорожки небогатые и задумчивые, и ходил по ним ручной журавль Чехова, серьезная одинокая птица.

В доме все было, как при Чехове, и казалось, что он только что вышел за дверь. И поражало в этом доме простота и удобство обстановки, в которой было все, что помогает жить, и не было ничего, что мешает, требуя заботы и лишнего почтения. Так когда-то будет жить настоящий культурный человек.

И ушел я, унося в душе дух тихой печали о том, что человек может быть удивительно хорошим, оставить на всем, к чему притрагивался, особый отпечаток милой одухотворен-

ности и осмысленности, и такой человек умирает, как и все.

И тогда-то мне пришло в голову, что Чехов умер вовремя.

Не в том состояло главное Чехова, что он был писатель и написал «В овгаре», «Дуэль» и другое, и не в том состоял расцвет его личности, что к длинному списку своих произведений прибавил он «Архиерея», «Невесту» и «Вишневый сад», а в том, что он сам был таков, каков был, а не другой.

Проживи он еще тысячи лет – к тому образу, который являет лицо его жизни, не прибавилось бы новых черт, ибо если бы они не были повторением и были действительно новыми, то получился бы новый, образ, – может быть, еще выше, еще лучше, но иной. А за ним исчез бы тот, который мы имеем и цена которому неизмерима.

И напиши он еще тысячу прекрасных вещей и будь они новыми, явись хотя бы развитием бравурной нотки, зазвучавшей в «Невесте», мы получили бы, быть может, писателя еще большего, еще талантливейшего, но утратили бы законченного писателя Чехова, того, который имел свою недостижимую грустную прелесть, какую имеют весенние сумерки, какая исчезает при восходе солнца, но драгоценная человеку не менее яркого дня.

Так зазвенит одна струна и порвется с долгим замирающим звуком. Быть может, не порвись она, звук разросся бы в могучую симфонию, сплелся бы с тысячами других звуков и был бы блестящ и звучен, но звук порвавшейся струны не зазвенел в воздухе, и та особая печально задумчивая красо-

та, которую люди слышат в звуке порванной струны, и не дошла бы до их слуха.

А между тем назревали времена казней, террора, экспроприации, анархизма, восстания масс, свержения мертвых и казни живых идолов, и каждый человек, тем больше, чем больше душа его, должен изменить часть души своей, дав в ней ответ на все муки и кровь проходящего времени.

И потому, когда я слышу, что Чехов умер в расцвете таланта, что еще многое мог бы сделать, что судьба несправедлива и смерть Чехова нелепа, мне странно это слышать.

1906